

QUINN FLUX

НЕ ПРОИЗНОСИ ЕЕ ИМЯ ВСЛУХ

САЙЛЕНТ КРИК

18+

Quinn Flux

Сайлент Крик

«Автор»

2026

Flux Q.

Сайлент Крик / Q. Flux — «Автор», 2026

Тринадцать пациентов. Сорок семь секунд. Один и тот же обрывок памяти: красный плащ, бумажный кораблик, запах ацетона и мяты. Нейробиолог Вера Стоун едет в Сайлент-Крик за данными. Но на её запястье проступает метка. 95%. 93%. 78%. Это не татуировка. Это таймер. В этом городе ключи ставят вертикально, чтобы металл не стукнул о дерево. Имена вырезают из объявлений. Река не убивает — она берет плату за звук. Произнесешь слово вслух, и вода сотрет из мозга лицо того, кого любишь. Вера ищет источник, пока не находит в архиве фото себя пятилетней. С такой же меткой. И приписку: «Оригинал уничтожен. Копия активна». Когда процент упадет до нуля, тело опустеет. А то, что двадцать лет ждало на дне без век и без права на вдох, поднимется по течению. Чтобы наконец почувствовать холод.

© Flux Q., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сорок семь секунд	5
Глава 2. Тринадцать	8
Глава 3. Палата без окон	10
Глава 4. Портленд	13
Глава 5. Тихий омут	18
Глава 6. История Тома. Элли	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Quinn Flux

Сайлент Крик

Глава 1. Сорок семь секунд

Запись оборвалась на середине слова.

Вера перемотала назад. Нажала воспроизведение. Голос пациента — мужской, с хрипотцой заядлого курильщика — заполнил салон автомобиля. Имплант за правым ухом отозвался лёгким покалыванием. Как ноготь по натянутой плёнке.

«Я помню красный плащ. Маленький. Детский. Она стоит у воды и держит... держит...»

Пауза. Дыхание. Шорох ткани о микрофон.

«...хотя у меня никогда не было дочери.»

Щелчок. Конец.

Экран диктофона мигнул цифрами: 00:47. Сорок семь секунд. Вера перематывает на тридцать первую секунду. Слушает. Останавливает. Перемотка. Ещё раз. На этом участке голос менялся. Не интонация. Тембр. Будто говорили двое, с задержкой в полсекунды. Второй голос тише. Ниже. Не эхо. Наложение.

Она достала блокнот с пассажирского сиденья. Записала коротко: «31 сек. Наложение. Источник неизвестен. Артефакт исключён (проверено на трёх устройствах).»

Шоссе тянулось серой лентой, окружённое тёмным лесом с белёсыми стволами берёз. Дождь моросил третий день. Мелкая водяная пыль пропитывала ткань куртки, кожу, обивку сидений. Вера чувствовала сырость на затылке, там, где выбились волосы из-под резинки.

Тринадцать пациентов. Две недели. Тринадцать одинаковых сорока семи секунд. Красный плащ. Кораблик. Песня без слов. Вера считала совпадения вслух, шёпотом, по старой лабораторной привычке: когда данных слишком много, считай. Счёт структурирует хаос. Счёт держит разум в узде.

Четыре совпадения на тринадцать человек. Пятьдесят два повтора. Вероятность случайности равна нулю. Четыре года работы с электромагнитными паттернами памяти научили её главному: совпадений не бывает. Бывают источники.

Она потянулась к термосу. Открутила крышку одной рукой, второй продолжала держать руль. Чай остыл до горечи. Вера допила его, не поморщившись, поставила термос обратно и достала сэндвич из фольги. Жевала, глядя на дорогу. Фольга шуршала в пальцах — единственный нормальный звук за три часа езды.

Имплант щёлкнул.

Коротко. Сухо. Как спичка, переломленная внутри черепной коробки. Вера потеряла висок. Помехи? Линии электропередач? Подстанция? Она проехала ещё милю. Щелчок повторился. Потом ещё. Не ритмично. Почти ритмично. Кто-то пытался поймать частоту. Настроить сигнал.

Переключение фильтра импланта на шумоподавление не помогло. Звук шёл изнутри. Из кости. Из того места, где металлическая пластинка касалась височной доли.

Новая запись в блокноте: «Щелчки нерегулярные. 3 за 4 мили. Источник внутренний. Не ЭМ-помехи. Гипотеза: резонанс с внешним полем. Проверить по прибытии.»

Лес расступился. Табличка на обочине гласила: САЙЛЕНТ-КРИК. НАС. 2 340.

Под ней вторая, ржавая, с выцветшими буквами: ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ТИХО.

Вера сбавила скорость. Шестьдесят. Сорок. Тридцать.

Город начался не домами, а отсутствием следов жизни. Ни голубей на проводах, ни запаха еды из окон. Проезжая мимо двухэтажного здания с облупившейся краской, Вера заметила

стакан на подоконнике второго этажа. Вода в нём стояла ровно. Без плёнки пыли. Без испарения. Кто-то поставил его давно и забыл, или же время здесь текло иначе.

На столбе у въезда висело объявление о потерянной кошке. Имя животного было аккуратно вырезано ножницами по контуру. Самоцензура. Чтобы имя не звучало даже в уме прохожего.

Дома тянулись вдоль одной улицы, окна закрыты деревянными ставнями с засовами. Церковь заколочена, колокол снят, остался лишь ржавый крюк, покачивающийся на ветру. Пахло старым железом и озоном, как после грозы, хотя небо было затянуто сплошной серой пеленой.

Мотель «ТИХАЯ ГАВАНЬ» встретил её негорящим неонам. Буква «Г» мигала, остальные буквы светились тусклым, болезненным жёлтым цветом. Вера заглушила мотор и посидела минуту, прислушиваясь. Гул реки был низким, ровным, почти неразличимым сознанием, но ощущаемым телом. Как кровь в ушах перед сном.

Дверь мотеля открылась сама собой. Или так показалось.

За стойкой стояла женщина лет шестидесяти в сером кардигане. Она медленно протирала чистую поверхность тряпкой. Руки двигались по одной траектории, занимая мозг, чтобы тот не успел начать думать лишнее. Женщина подняла глаза и посмотрела не на лицо Веры, а на её запястья. Чистые. Без отметин. В глазах администратора мелькнуло разочарование — глубокое, костяное. Она надеялась, что сегодня никто не придет.

— Комната, — сказала Вера.

Женщина вздрогнула, будто от удара током. Её пальцы замерли.

— Вторая дверь, — прошептала она. Губы едва шевелились, звук выходил сдавленным, из самого горла. — Горячей воды нет. Она шумит в трубах.

Вера хотела спросить, почему город молчит, но женщина уже склонилась над книгой записей, втянув голову в плечи, словно ожидая удара. На стойке стояла чашка с холодным чаем. Поверхность покрылась плёнкой, на дне осел тёмный, нечаянный осадок.

Когда Вера положила ключ на стойку, женщина не взяла его. Она поставила ключ вертикально. Чтобы металл не коснулся дерева и не стукнул.

— Пароль от сети? — спросила Вера, показывая телефон.

Администратор взглянула на экран, узнавая название оператора. Что-то изменилось в её лице. Узнавание.

— Нет сети.

— Я вижу имя.

— Имя есть. Сети нет.

Она снова принялась протирать столешницу. Морось за окном, гул реки. Тишина давила сильнее шума.

— Уезжайте, — сказала женщина наконец. Так тихо, что Вера едва разобрала слова. — Пока можете.

— Я приехала работать. Эпидемия ложных...

— Тише!

Одно слово. Но в нём была такая сила и такая усталость, что Вера замолчала. Администратор наклонилась вперёд. Серые, водянистые глаза с лопнувшими капиллярами смотрели пристально.

— Здесь не говорят о работе. Здесь не говорят ни о чём. Вы понимаете? Ни вслух. Ни громко. Никогда.

Она отстранилась, выпрямила спину и сложила руки на книге, делая вид, что предыдущие секунды не существовали.

Комната номер два оказалась стандартной: кровать, стол, стул, окно. Пепельница была полна окурков. На стене висела выцветшая фотография той самой реки. Вера села на матрас, который скрипнул под весом тела. Телефон показывал отсутствие сигнала. Проводной аппа-

рат на тумбочке выдавал только гудок, затем наступала абсолютная тишина. Не разъединение. Присутствие собеседника, который молчал.

Нет мобильной связи. Нет интернета. Город изолирован не технически, а инстинктивно.

Вера легла, не раздеваясь. Куртка, ботинки, сумка под головой. Она планировала не спать, а анализировать. Тринадцать пациентов. Наложение голоса. Женщины, которые шепчут. Ключи, которые ставят вертикально. Данные не складывались в гипотезу. Они складывались в ощущение страха, для которого в блокноте не предусмотрено графы.

Инфразвук. Семь-двенадцать герц. Резонанс грудной клетки. Гул синхронизировался с дыханием. Вдох — гул. Выдох — гул. Чужое дыхание. Терпеливое.

Вера включила кран. Вода в трубах загудела в тон реке. Прижав ладонь к стене, она почувствовала мелкую вибрацию. Стена дышала.

Имплант щёлкнул во второй раз. Паттерн: три паузы, две паузы, одна. Интервал одиннадцать секунд. Структура напоминала формирование долговременной памяти.

В три семнадцать ночи Вера проснулась от тепла на запястье. Лёгкое касание. Не боль. Не холод.

Она открыла глаза. Темнота. На внутренней стороне левого предплечья проступило пятно. Полукруг с точкой в центре. Тёмное, ровное, как будто кто-то прижал горячую монету к коже и держал долго, пока металл не остыл. Кожа вокруг пульсировала медленнее сердца. Спокойнее. Второе сердце. Чужое.

Учёный не кричит на новый образец. Учёный фиксирует данные.

Рука дрожала, но почерк оставался ровным: «03:17. Пигментация. Левое запястье. Диаметр ~2 см. Температура повышена. Частота пульсации ~0,8 Гц. Не совпадает с моим пульсом.»

При свете лампы метка не отражала лучи, а поглощала их. Миниатюрная чёрная дыра.

Имплант вспыхнул жаром за ухом, волной пройдясь по позвоночнику. В темноте, прямо на сетчатке глаз, проступили белые буквы. Текст. Одно слово.

ЗАПИСАНО.

Вера моргнула. Слово исчезло. Имплант остыл. За окном продолжала моросить вода, река гудела, метка пульсировала в такт чему-то бесконечно далекому.

Она написала рядом с записью паттерна одно слово. Не вопрос. Обвинение.

Кто?

Глава 2. Тринадцать

Утро началось с проверки реальности. Вера надавила подушечкой пальца на центр метки. Кожа не побледнела. Рисунок не смазался. Он врос.

Простыня пахла крахмалом и затхлостью старого шкафа. Метка теперь пульсировала в такт собственному сердцу Веры — восемьдесят два удара в минуту. Совпадение? Или захват?

Она умылась холодной водой со вкусом ржавчины, оделась и вышла на улицу. Морось висела в воздухе невесомой пылью, оседая на ресницах и воротнике куртки.

Город был серым не по цвету, а по звуку. Тишина лежала поверх крыш и тротуаров ровным слоем. Аптека работала, хотя надпись «Открыто с 7:00» выглядела насмешкой. Вера шла по центру тротуара, избегая стен. Стены были исписаны. Не граффити. Знаками.

Полукруг. Точка.

Вырезанные ножом на кирпиче, нарисованные мелом, выжженные сигаретами. Разного размера, разной высоты. Абсолютно идентичные.

Вера достала телефон, чтобы сделать снимок ближайшего знака. Экран мигнул. Галерея осталась пустой. Повторная попытка. Результат тот же. Четвёртый раз экран погас окончательно, высветив сообщение: «Ошибка записи». Не память. Не формат. Избирательное подавление. Телефон нагрелся в ладони на пару градусов.

Зато обычный снимок стены без знаков сохранился нормально.

Первый встречный мужчина в серой куртке остановился, увидев приближающуюся Веру. Он не смотрел ей в глаза. Его взгляд фиксировался на губах. На открытом рте. Мужчина знал, что будет дальше. Он наблюдал, как кто-то тянется к оголённому проводу, и ждал искры.

Вера закрыла рот. Мужчина развернулся и быстро ушёл, не оглядываясь, подняв плечи, будто шёл по краю пропасти.

Вторая пешеходка свернула на другую сторону улицы, обойдя Веру, как лужу.

Подросток на велосипеде остановился. Посмотрел не на лицо, а на левое запястье, скрытое манжетой рубашки. Крутанул педали и уехал. Метка видна не только визуально. Или субъекты знают, куда смотреть.

Бакалейная лавка на углу имела вывеску «Продукты. Хлеб. Соль». Колокольчик над дверью был туго обмотан серой тканью. Старик в огромном пальто стоял у входа, беззвучно шевеля губами. Молитва? Счёт? Имя?

Вера подошла вплотную, понизив голос до шёпота:

— Простите.

Старик перестал двигаться. Поднял голову. Посмотрел на запястье Веры. Указал длинным, желтым от табака пальцем на место под манжетой.

— Что это? — спросила Вера.

Он молчал десять секунд. Затем качнул головой. Разочарованно. Будто увидел тройку вместо пятёрки. Или наоборот. Он ожидал другого. Другого знака. Другого носителя.

Старик вошёл в магазин. Дверь закрылась без звука.

Реку слышали раньше, чем увидели. Гул шёл не через уши, а вибрировал в рёбрах, в солнечном сплетении. Вода внизу набережной была тёмной и медленной. Она ползла.

На берегу стояли семь фигур. Серые, неподвижные, спиной к Вере. Головы опущены. Руки по швам. Они не дышали. Не покачивались. Стояли, как столбы.

Вера моргнула.

Берег опустел.

Ни шагов. Ни всплесков. Ни следов на мокром песке. Только тёмная вода и серый бетон. В блокноте чернилами значилось: «Семь субъектов. Исчезновение за одно моргание.»

Вернувшись в мотель, Вера обнаружила на стойке записку. Почерк Марты. Торопливый, с оборванными буквами.

Не ходите к реке после заката. Не называйте вслух имён. Не пойте.

Три запрета. Без объяснений. Марта исчезла. В её комнате на тумбочке стоял стакан с водой, которая мелко дрожала в такт гулу снизу.

Вечер принёс систематизацию. Вера сводила наблюдения в таблицу. Инфразвук. Токсины. Массовый психоз. Каждая гипотеза требовала проверки, которой не могло быть в условиях полной изоляции.

Она остановилась на третьей строчке. Ручка зависла над бумагой. Третья гипотеза была очевидна, но невыносима. Метка появилась только у неё. Печать. Выбор.

Вера закрыла блокнот. Открыла снова. Последняя страница, утром абсолютно чистая, содержала фразу.

Её почерк. Её синие чернила. Её авторучка.

Не ищи меня. Я сама найду.

Вера сидела в темноте комнаты, слушая, как река гудит в такт её пульсу. Восемьдесят два удара. Восемьдесят три. Она не переворачивала страницу. Не искала логики. Просто ждала.

Глава 3. Палата без окон

Клиника «Святого Иуды» торчала на окраине, за последними домами, на размытой грунтовке. Асфальт кончился, началась грязь. Вера заглушила мотор, положив руки на руль. Десять точек контакта. Пластик холодный, липкий от влаги. Реальность подтверждена.

Имплант гудел фоном, как старый холодильник. Привычка.

Она взяла папку с тринадцатью файлами. Знакомые голоса. Знакомые паузы. Но запись — это не человек. Запись не пахнет.

Воздух снаружи пах рекой и хлоркой. Промышленной, агрессивной хлоркой мест, где люди лежат долго. Внутри клиники запах усилился: пыль, кожа, формалин. Коридор линолеума гудел лампами дневного света. Одна мигала. Медсестра у стойки прижимала планшет к груди, как щит.

— Доктор Стоун? Палата четыре. Дорис Клайн. Третий день. Не спит. Говорит.

— Что говорит?

— Одно и то же.

Вера кивнула. Она знала содержание заранее. Инструкция запрещала ждать главного врача Ардена. Сбор первичных данных приоритетен.

Палата №4 была маленькой. Окна не было вовсе. Стена гладкая, серая, будто архитектор решил, что пациентке некуда смотреть.

Дорис Клайн сидела на койке. Седые волосы, одутловатое лицо, сухой халат. Глаза ясные. Слишком ясные для диагноза «острый психоз». Такой ясностью обладают пациенты после инсульта, когда тело мертво, а разум горит.

Вера села напротив. Колени почти касались колен пациентки. Блокнот наготове. Почерк — якорь. Пока буквы ровные, мир стабилен.

— Дорис. Меня зовут Вера Стоун. Я нейробиолог. Расскажите, что вы видите.

Дорис не повернула головы. Голос монотонный, как диктовка списка покупок.

— Красный плащ. Синтетика. Тяжёлая ткань. Шуршит. Мне жарко, потому что я бегу.

Вера записывала.

— Бумажный кораблик. Мокрый. Река тянет под мост.

От Дорис пахло илом. Живой, речной запах. Не больницы дезинфекцией. Вера зафиксировала это в блокноте как внешний источник загрязнения.

— Мост каменный. Три опоры. Ржавчина на второй. Мох на третьей. Вода шесть градусов. Холодная. Щиколотки горят от течения.

— Вы чувствуете течение?

— Да. Как рука. Чья-то рука тянет за лодыжку.

Вера не поднимала глаз. Смотрела в строки.

— Песня, — сказала Дорис.

Вера подняла голову.

— Какая песня?

— Без слов. Три ноты. Высокая. Средняя. Низкая. Которая уходит вниз. Под пол. Под землю.

Дорис начала напевать. Тихо. Себе.

Три ноты.

Ручка Веры остановилась. Чернильная точка расплылась по бумаге, превращаясь в круглый зрачок.

Вера знала эту мелодию. Не интеллектуально. Костями. Тем местом под рёбрами, которое не видно на МРТ. Колыбельная. Которую ей пели в три года. Гиппокамп не должен хранить эти воспоминания. Это биология. Факт.

Но тело помнило. Тепло рук. Гул голоса в грудной клетке. Щека, прижатая к щеке. Вера моргнула дважды. Ручка дрогнула. Она записала механически: «Локальный фольклор. Уточнить.»

Если Дорис скажет, что это пела мать, придётся признать невозможное. Три ноты из тысяч комбинаций — те самые. Те, что должны были раствориться в амнезии детства.

Вера закрыла блокнот.

— Спасибо, Дорис. Нужно взять кровь. Стандартная процедура.

Она надела перчатки. Протерла ватным тампоном вену. Игла вошла. Кровь потекла тёмная, густая.

Дорис схватила Веру за запястье.

Не сильно. Точно. Пальцы сомкнулись на месте метки. Там, где кожа тонкая. Где пульс.

— Мама?

Шёпот. Узнавание. Слово, которое держали во рту двадцать лет.

Вера отёрнула руку. Пробирка упала. Кровь разлилась по полу. Кап. Кап. Кап. В такт напеванию Дорис.

Запястье горело чужим теплом. Знакомым.

Дверь открылась. Вошёл доктор Арден. Пожилой, уставший, в мятом халате. Он посмотрел на кровь, на Веру, на Дорис, напевающую в стену.

— Не трогайте пациентов, — сказал он ровно. — Контакт усиливает передачу. Вы не знаете, что транслируете.

Вера посмотрела на свои руки. Перчатки целы. Но тепло осталось.

— МРТ, — потребовала она. Голос стал профессиональным щитом.

Кабинет Ардена был завален снимками. Тринадцать мозгов. Тринадцать гиппокампов.

— Смотрите, — сказал Арден.

Активность синхронизирована. Не похожа. Синхронизирована. Одинаковая частота. Амплитуда. У людей, которые никогда не встречались.

— Это невозможно, — констатировала Вера.

— Но это есть, — согласился Арден, протирая очки. — Они не придумали это. Они получили.

— Откуда?

Арден молчал. Долго. Лампа гудела.

— Источник один. И он рядом.

Река. Имплант. Метка. Вера связывала факты, но боялась финального вывода. Связать — значит действовать. Действовать — значит выйти из роли наблюдателя.

— Возьмите кровь, — приказал Арден, вставая. — Но двойные перчатки. И не смотрите им в глаза дольше трёх секунд.

Он вышел. Вера осталась одна с тремя нотами в голове.

Она вернулась в палату. Дорис всё ещё напевала. Вера взяла новую пробирку. Работала машинально. Кровь — это данные.

На выходе из клиники, на заднем дворе, среди гравия и луж, Вера увидела фигуру. Маленькую. В красном плаще с капюшоном.

Она пошла быстрее. Учёный не бежит. Учёный приближается.

Фигура повернула за угол. Вера догнала. Пусто. Только дерево, забор и лужа.

В луже лежал бумажный кораблик. Сложен детскими руками. Аккуратно. Старательно.

Вера наклонилась. Бумага была мягкой, холодной, пахла рекой. На борту корабля детским почерком было написано пять слов:

Ты обещала вернуться.

Чернила таяли. Буквы расплывались. Вера не помнила обещания. Но запястье горело. Три ноты крутились в голове, не давая сосредоточиться.

Она положила кораблик в карман. Бумага холодила бедро сквозь ткань.

В машине Вера сидела, грея руки о руль. Мотор не заводила. Карман был тяжёлым. Мокрая бумага прилипала к бедру.

Тело помнило то, что разум отрицал. Голос. Руки. Обещание.

Метка на запястье пульсировала в такт реке. В такт трём нотам, которые уходили вниз. Под воду.

Вера не смотрела на метку.

Глава 4. Портленд

Имплант молчал.

Вера сидела в лаборатории четвёртого этажа, прижав паяльник к плате размером с ноготь мизинца. Пальцы пахли канифолью. На тыльной стороне ладони розовел ожог от вчерашнего — кожа стянулась, но ещё не зажила. За ухом, там, где через три дня пластина ляжет на височную кость, зудело. Она научилась не чесать.

— Ну давай, — сказала она импланту. Тихо. Как говорят с котом, забившимся под диван. — Я знаю, что ты можешь.

Индикатор оставался тёмным. Плата стыла в пальцах. Четыре года ночной сборки между лекциями и грантами, между остывшим кофе и дырявым носком на левой ноге. Пассивный приёмник электромагнитных полей мозга. Не генератор, не стимулятор. Ухо. Маленькое, металлическое, послушное ухо для того, что мозг прячет от самого себя.

Сейчас оно не слышало ничего.

Вера отложила паяльник, потёрла глаза. За окном шёл портлендский дождь: ровный, бесконечный, белый шум. Стекло запотело. На подоконнике стояла кружка с надписью «НЕ ТРОГАЙ ЭТО» — подарок Хелен на двадцать восьмой день рождения. Чай остыл три часа назад, поверхность затянуло плёнкой.

Осциллограф показал ноль при подаче тока. Ноль при подаче сигнала.

Вера встала, потянулась; позвоночник хрустнул, лопатки свело судорогой. Тридцать часов без сна.

— Ладно. Завтра.

Завтра оказалось тем же самым: плата, паяльник, канифоль, ожог, зуд за ухом. Вера не ела — тело молчало, не просило, только ждало.

На третий день имплант щёлкнул. Сухо, как спичка.

Вера замерла. Индикатор мигнул зелёным и снова погас.

— Нет. Не уходи.

Щелчок повторился. Зелёный свет остался — ровный, тихий.

Вера выдохнула, поняв, что не дышала. Колени дрогнули, когда она опустилась на стул. Смотрела на индикатор так, как смотрят на живое существо, которое могло умереть, но не умерло.

— Привет.

Имплант гудел тихо и ровно.

Вечером Вера стояла перед зеркалом в ванной. Кафель охлаждал босые ноги. Кран капал в раковину — прокладку она так и не нашла, а вызывать сантехника было лень. Кап. Кап. Кап. Ритм, по которому она считала время, когда не могла уснуть.

Закрyla глаза.

Руки. Длинные пальцы. Обкусанный ноготь на большом. Серебряное кольцо с трещиной поперёк. Помнила, как оно поворачивалось при быстрых движениях, как холодило щеку в объятиях.

Запах. Ацетон и мята. Лаборатория и кухня. Химия и чай. Сводило скулы, хотелось вдохнуть глубже — и не получалось.

Голос. Низкий, с хрипотцой. Слова шли не из горла, а из-под рёбер.

Шаги. Мягкие, чуть шаркающие, быстрые — человек всегда опаздывал, но никогда не бежал.

Лицо.

Вера открыла глаза. В зеркале были её скулы, её подбородок, её линия волос. Двадцать восемь лет ежедневного узнавания.

Но стоило попытаться вспомнить другое лицо — первое, то, что было до всех остальных, — и ничего не происходило. Ни размытости, ни ощущения «вот-вот», ни раздражающего эффекта вертящегося на языке имени. Стена. Белая, гладкая, без швов и дверной ручки.

Мозг не стирает лицо матери. Вера знала это не как молитву, а как инженерный допуск. Первый файл визуальной коры, записанный до языка, до имён, до страха темноты. Базовый слой. Фундамент. Его не удаляет ни травма, ни стресс, ни нейродегенерация.

Его удаляет кто-то.

Включила холодную воду, умылась. Капли стекали с подбородка. Вытерлась рукавом свитера, посмотрела в зеркало снова.

Её лицо было на месте. Лица матери не было.

Доктора Фенна звали терапевтом. Кабинет на шестом этаже, окно во двор, фикус в углу. Вера ходила раз в две недели не потому, что это помогало, а потому что Хелен просила. Соглашаться было проще, чем объяснять отказ.

— Вы снова пытались.

Не вопрос. Доктор Фенн смотрел поверх круглых очков, делавших глаза больше, чем они были.

— Да.

— И?

— Стена.

Он записал что-то в блокнот. Вера знала текст наизусть: устойчивая амнезия на визуальный образ матери, эмоциональная реакция — раздражение, прогресса нет.

— Вера. Мозг не стирает лицо матери без причины.

Она перевела взгляд на фикус, на пыльный лист, на свет, легший на керамику горшка.

— Может, причина — я. Сама стёрла. Может, это был выбор.

Фенн молчал. Три секунды. Пять. Вера считала.

— Вам было семь лет.

— В семь лет дети выбирают.

— Что?

Она не ответила. Встала, взяла сумку, глянула на часы: следующий пациент через десять минут.

— До свидания, доктор Фенн.

— Вера.

Остановилась в дверях, не оборачиваясь.

— Если вы когда-нибудь вспомните — не приходите ко мне. Идите домой. Сядьте. Не включайте свет. Сидите столько, сколько нужно.

Дверь закрылась. Фикус остался.

Письмо пришло в четверг. Бумажный конверт с логотипом клиники «Святого Иуды», округ Тилламук. Вера вскрыла его на кухне стоя; Хелен была на работе, в квартире пахло вчерашним луком.

Отчёт. Три страницы мелкого шрифта. Тринадцать пациентов, две недели наблюдения, одинаковые воспоминания: красный плащ, бумажный кораблик, песня без слов, мост, холод воды.

Читала профессионально, отстранённо, как чужую статью на конференции. Тринадцать случаев — не эпидемия, а аномалия. Аномалия — не болезнь, а вопрос.

Перевернула третью страницу и остановилась.

Строка в конце второго абзаца, примечание, курсив: «Все пациенты упоминают женщину в лаборатории. Запах: ацетон и мята».

Перечитала трижды. Пальцы на бумаге побелели — кровь ушла из кончиков.

Ацетон и мята. Знакомый не из отчёта, не из клиники. Из кухни в Портленде. Из коридора. Из ночи, когда мать сидела за столом и писала, а шестилетняя Вера стояла в дверях, слушая скрип пера.

Не помнила лица. Не помнила голоса целиком. Не помнила имени. Помнила один запах. И тринадцать незнакомцев в округе Тилламук помнили его тоже.

Положила отчёт на стол, разгладила уголок. Смотрела, как смотрят на рану, которую нельзя трогать, но необходимо увидеть.

Набрала номер клиники. Пять гудков. Никто не взял. Положила трубку, села, прочитала все три страницы снова. До последнего курсива.

Хелен вернулась в семью. Ключ в замке, сумка на пол, скрип половицы в коридоре — третья от двери, та самая, которую обещали починить три года.

Вера сидела за кухонным столом. Отчёт перед ней, рядом пустая кружка «НЕ ТРОГАЙ ЭТО».

Хелен вошла, посмотрела на Веру, на отчёт, на кружку. Сняла пальто, повесила аккуратно, рукав к рукаву.

— Ты не ела.

— Не хотела.

— Вера.

— Мам.

Хелен остановилась. «Мам» звучало редко, только для того, что нельзя сказать иначе.

— Сядь.

Хелен села. Смотрела на обложку отчёта, на логотип, на название округа.

— Я еду.

Молчание. Семь секунд. Восемь. Девять.

— Нет.

— Мам.

— Нет.

— Тринадцать пациентов. Одинаковые воспоминания. Это не психоз, не совпадение. Передача. И у меня единственной есть оборудование, чтобы...

— Нет.

Хелен встала, подошла к хлебнице, достала хлеб, положила на доску. Нож входил в мякиш глубже, чем нужно для ломтика. Руки не дрожали, лицо не менялось.

— Грейс просила, — сказала она, не оборачиваясь. Нож в хлебе. — Если Вера когда-нибудь спросит о Сайлент-Крике — не пускай.

Вера замерла.

— Что?

Ломтик. Ещё ломтик.

— Грейс просила. Перед тем, как уехать. Перед тем, как... — Нож остановился. Хелен положила его, посмотрела на муку на пальцах, на трещину ногтя. — Она сказала: если спросит — не пускай. Я обещала.

— Это было двадцать лет назад.

— Обещание не имеет срока.

— Я не спрашиваю. Я еду.

Хелен обернулась. Серые глаза, усталые — не злые, не испуганные. Усталость человека, который двадцать лет держит тяжесть и не может положить.

— Ты не понимаешь.

— Объясни.

Десять секунд. Двадцать. Тридцать. Объяснения не последовало. Хелен положила хлеб на тарелку, поставила перед Верой.

— Поешь.

— Мам.

— Поешь, Вера.

Хлеб тёплый, свежий. Вера жевала, не чувствуя вкуса. Хелен смотрела не на лицо, а на запястья — чистые, без отметин.

— Будь осторожна. Так тихо, что едва слышно.

— Просто будь. Осторожна.

Вера кивнула, доела, встала, обняла Хелен коротко и крепко. Мука, мыло и что-то ещё — почти ацетон и мята, но не совсем. Почти.

Вышла из кухни, не обернувшись. Если бы обернулась — не уехала бы.

Старый седан, двести тысяч пробега, продавленное сиденье, зеркало заднего вида на одном шурупе. Поправила, посмотрела в отражение: своё лицо, свои глаза.

Завела двигатель. Портленд остался позади — серый, дождливый, знакомый. Имплант за ухом гудел ровно.

Включила диктофон. Тринадцать файлов. Тринадцать голосов.

Первый, мужской, хриплый: «Я помню красный плащ. Маленький. Детский. Она стоит у воды и держит...» Пауза. Щелчок.

Второй, женский, быстрый: «Кораблик. Бумажный. Мокрый. Тянусь, но вода сильная. Река тянет вниз. Под мост».

Третий. Четвёртый. Пятый.

Паттерн. Структура. Повтор. Красный плащ, кораблик, песня, мост, холод. Одинаковые до температуры воды на пальцах.

Седьмой голос, женский, с придыханием: «Она стоит на берегу. Не двигается. Смотрит на меня. Улыбается. И держит. Держит. Держит...»

Запись оборвалась на вдохе, не перешедшем в выдох. Перемотка. Снова: «Держит. Держит. Держит...» Тишина.

Пальцы на руле сжались. Слово «держит» застряло в горле. Дыхание стало ровнее, глубже — как перед сном, как перед провалом туда, где нет мыслей и имени, только тепло и чужая рука на макушке.

Не понимала почему. Не остановилась.

Шоссе, лес по обе стороны, белёсые берёзы, морось, скрип стеклоочистителей. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый.

Тринадцатый. Мужской, старый, с трещиной: «Она не смотрит на меня. Смотрит в воду. Я стою рядом. Хочу сказать имя. Не могу. Не могу. Не могу».

Пауза.

«Ацетон и мята».

Щелчок. Конец.

Выключила диктофон, положила на пассажирское сиденье. Дорога, лес, серое небо лежит на верхушках деревьев крышкой.

На сто тридцать седьмой миле глянула в зеркало заднего вида — привычка, механика тела.

Заднее сиденье. Пустое. Сумка, куртка, блокнот.

И что-то на краю отражения, на границе слепой зоны. Складка ткани? Блик? Ничего?

Моргнула. Пусто. Сумка, куртка, блокнот.

Усталость. Сто тридцать семь миль. Тридцать часов без сна. Апофения: мозг видит паттерны там, где их нет.

Отвернулась к дороге. Имплант гудел. Ехала дальше, не обернувшись.

Если бы обернулась — увидела бы на запотевшем стекле изнутри, на заднем сиденье, отпечаток. Четыре пальца, пятый короче. Ребёнок, не доросший до собственного тела. Отпечаток таял медленно, как дыхание на стекле, как сказанное и забытое слово. Исчез.

Вера ехала. Не знала.

Глава 5. Тихий омут

Паб пах кислым пивом и мокрым деревом — не смолистым баннным теплом, а старой губкой, двадцать лет впитывавшей пиво, пот и страх, и не отдававшей ничего обратно.

Дверь скрипнула слишком громко. Вера замерла, ожидая, что кто-то обернётся, скажет «тише», посмотрит с ужасом на рот.

Никто не обернулся.

Шестеро за столами. Пили, не разговаривали, не смотрели друг на друга и на неё. Каждый — в свою точку, где ничего нет.

Пол липкий, каждый шаг — тихий чавк. Табурет холодный, влажный.

За стойкой мужчина пятидесяти с лишним лет. Грязная серая рубашка с пятном, выцветший бейдж: ТОМ БЕЙКЕР. Протирал кружку серой тряпкой круговыми движениями. Шкряб. Шкряб. Шкряб. Не поднял глаз, не поздоровался.

— Воду.

Налил из-под крана, поставил стакан, продолжил протирать.

Вода холодная, с привкусом железа — старые трубы, память металла.

— Я из клиники. Нейробиолог. Меня вызвали по поводу тринадцати пациентов.

Шкряб.

— Одинаковые воспоминания. Красный плащ. Кораблик. Песня без слов. Вы видели их здесь?

Шкряб.

Вера наклонилась, понизила голос до уровня, на котором говорила Марта в мотеле.

— Том. Мне нужна помощь. Город молчит. Телефоны не работают. Люди смотрят на меня так, будто я...

Кружка треснула. Тихо, сухо. Тонкая ровная трещина от края до дна, как шрам. Том смотрел на неё, не на Веру. Три секунды. Пять. Семь.

Поставил кружку трещиной от себя — как раненое животное, чтобы не видеть.

— Уходите. Голос хриплый, сухой, как смятая и разглаженная бумага.

— Что?

— Уходите. Пока река не запомнила ваш голос.

— Что значит «запомнила»?

Новая кружка. Шкряб. Десять секунд. Двадцать.

Старик заговорил. Не вскрик — слово, которое держали во рту часами, днями, годами, пока оно не разбухло и не стало больше горла.

— Эли.

Имя, произнесённое вслух в месте, где не говорят.

Шестеро за столами замерли. Кто-то опустил голову, кто-то вцепился в край стола, у одного напряглись плечи — рефлекс тела, ожидающего второго выстрела.

Том побледнел мгновенно, как при выключенном свете. Кружка выпала, покатилась, остановилась. Он бросился через стойку, через табурет, через лужу пива, схватил старика за плечи, прижал ладонь ко рту так, что кожа вмялась.

— Заткнись. Шёпот страшнее крика. Не злоба — мольба. — Заткнись, ради бога.

Старик смотрел мокрыми глазами — не от слёз, а от того, что прорвалось после двадцати лет заточения. Том держал десять секунд, двадцать, тридцать. Старик не сопротивлялся.

Отпустил медленно. Старик сел, сделал глоток, как будто ничего не было, как будто тишина не треснула.

Том тяжело дышал. Посмотрел на Веру впервые прямо.

— Задняя дверь. Сейчас.

Через зал, мимо шести спин, шести кружек, шести тишин, которые были ожиданием. Вытолкнул наружу, вышел сам, прислонился спиной к двери, как будто удерживал давление с той стороны.

Двор. Мусорный бак, лужа, забор. За ним река — гул низкий, ровный, ближе, чем должен быть. Под ногами, под досками, под землёй.

Том говорил быстро, шёпотом, глядя на реку и собственные руки.

— Река записывает всё, что произнесено вслух. Каждое имя, каждое слово. Потом использует. Скажете имя — река найдёт того, кого назвали. Заберёт часть памяти. У него и у вас.

Имплант гудел.

— Это безумие.

Том посмотрел в глаза — не злость, не насмешка. Костяная усталость глубже сна, глубже тела.

— Безумие — приехать сюда с прибором, который слушает. Выключите его. И уезжайте.

Рука потянулась к переключателю, остановилась, не коснулась.

— Кто такая Элли?

Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть секунд.

В глазах не боль, не гнев, не то, что бывает при вопросах о мёртвых или живых. Пустое. Комната, из которой вынесли мебель: стены, пол, окно остались, жить нельзя.

— У меня не было дочери.

Пауза.

— У меня никогда не было дочери.

Повернулся, вошёл, дверь захлопнулась тихо и влажно, как ладонь по мокрому дереву.

Вера стояла одна у мусорного бака. Река гудела низко, ровно, терпеливо.

Достала блокнот. Рука не дрожала. Писала чётко, как протокол, как диагноз — то, что нельзя не записать, потому что забыть здесь значит потерять.

«Река записывает звук. Имя, произнесённое вслух, даёт доступ к памяти. Память — валюта. Том продал „Элли“. Не знает, что продал. Или знает и не может вспомнить, что именно».

Подчеркнула последнее дважды.

Голос Тома, сказавший «у меня не было дочери», был голосом не лжеца, а человека, который забыл. Смотрит на пустое место, видит форму, не помнит содержания и не помнит, почему форма болит.

Вера знала эту боль от зеркала в ванной, от белого пятна вместо лица, от ацетона и мяты, которые помнила без имени.

Вернулась через заднюю дверь. Том протирает другую кружку. Шкряб. Шкряб.

Села за стол у стены, спиной к дереву. Достала блокнот, начала рисовать схему: круг, в центре река, вокруг город, линии, стрелки, точки.

Шестеро пили молча. Том протирает.

Имплант гудел. Метка на запястье, появившаяся вчера в мотеле в 3:17 ночи, была тёплой — как чужой палец, прижатый к коже. Полукруг, точка, тёмно-серая, как графит, как мокрый асфальт. Потёрла, посмотрела снова: тусклее на полтона, будто кто-то провёл ластиком один раз, легко, не стёр, а сделал бледнее.

Освещение. Одна лампа над стойкой, тени, контраст.

Не записала. Закрывает блокнот, вышла.

Мотель в трёх кварталах. Машина у клиники, идти легче — ноги слушаются, голова нет. Улица пустая, ставни закрыты, фонари через один, морось пропитывает, не мочит.

Вторая дверь. На ней царапины — не написанные, а нацарапанные гвоздём или ногтем, неровные, кривые, детские буквы рукой, которая не умела держать.

«Она ждёт у моста».

Светлая стружка под ногтем. Свежая. Минуту назад, может меньше.

Коридор пуст. Свет мигнул дважды, устоялся.

Кто.

Не знала. Не хотела знать. Не сейчас, не здесь, в коридоре, пахнущем плесенью и рекой, где имплант гудит, а метка тёплая.

Вошла, заперла дверь, села на кровать. Посмотрела на запястье.

Полукруг. Точка. Тусклые. Серые. Девяносто семь. Цифра пришла без вычислений, как знание о кольце с трещиной, о белом пятне вместо лица, о том, что кто-то стёр и она не помнит кто, зачем и что было до.

Записала в блокнот, положила рядом. Легла не раздеваясь, куртка, ботинки, сумка под головой.

За окном река гудела ровно, низко, терпеливо.

Имплант щёлкнул однажды, коротко. Не помеха, не шум. Замок. Дверь. Точка.

Закрыла глаза. Не уснула. Слушала реку, имплант, дыхание. Под ними — тишину, не пустую, а наполненную, как комнату, где кто-то только что был: воздух тёплый, запах живой.

Человека нет.

Глава 6. История Тома. Элли

Кружка была чистой. Протёрта четыре раза. Тряпка стала чёрной, потом просто мокрой. Руки должны были делать что-то: когда они останавливались, начиналось другое, безымянное, похожее на комнату с запахом чужого тела, чужого дыхания, чужого смеха, который Том не мог вспомнить.

Поставил кружку на полку, взял следующую.

За стойкой пахло кислым пивом и скисшим молоком у края стакана. Никто не приходил за ним. Том ставил стакан каждый вечер в восемь ровно. Холодное, с тонкой плёнкой, если постоит дольше часа. Менял через час. Наливал новое. Ставил. Ждал.

Не знал кого. Знал, что ждёт. Мышечная память: рука тянется к выключателю в темноте, хотя свет горит. Тело помнит жест, разум не помнит адресата.

Молоко белое, тихое, отражает жёлтое пятно лампы над стойкой — солнце через грязное стекло.

Не помнил почему. Помнил, что ставил всегда, сколько себя помнил за этой стойкой. «Почему» вырезано чисто, скальпелем, без шрама и кровотечения. Было и нет. Страница вырвана, корешок не треснул.

Протёр стойку. Тряпка скрипнула — единственный знакомый звук. Всё остальное чужое: лица, имена, заказы. Наливал, подавал, забирал пустые стаканы, не запоминал. Память была валютой, Том давно расплатился.

Метка на шее холодила. Полукруг с точкой. Шестьдесят процентов. Никогда не смотрел — ни в зеркало, ни в отражение стекла, ни в тёмную воду при мытье рук. Посмотришь — вспомнишь, сколько отдал. Сколько отдал — сколько не осталось. Сколько не осталось — сколько ещё можно потерять.

Протёр последнюю кружку, поставил, выключил свет над стойкой, оставил одну жёлтую тусклую лампу у двери — свечу, которую забыли задуть.

Пришло. Не воспоминание, а осколок, заноза, двенадцать лет сидевшая под кожей и вдруг сдвинувшаяся. Не больно. Просто сдвинулась.

Запах макушки. Тёплый, сладковатый, как хлеб из печи, как кожа после сна.

Исчезло.

Ждал секунду, две, пять, десять. Не вернулось.

Положил тряпку, вытер руки о грязный фартук с пятнами пива и жира, которые не мог отстирать. Не помнил, когда последний раз стирал. Стирала Мэри. Мэри стирала, готовила, пела на кухне, резая лук.

Мэри ушла.

Факт, сухой и голый, как обглоданная кость. Не как ушла, не что сказала, не куда. Элли было шесть, диагноз три недели назад. Мэри продержалась ещё три. Собрала сумку, посмотрела на Тома — не на Элли — и вышла. Дверь закрылась тихо, без хлопка и крика. Тихо — хуже всего.

Не побежал. Элли спала наверху, и кто-то должен был быть рядом, когда она проснётся. Кто-то должен был сказать, что мама уехала, и не заплакать: Элли испугается, Элли больна, ей нельзя пугаться.

Не заплакал тогда, потом, через год, через два, через двенадцать. Не потому что сильный. Слёзы требуют картинки, звука, запаха — привязки для боли. У Тома не было привязки. Место, где были картинка, звук и запах, стало гладкой серой штукатуркой без следа.

Не мог плакать о том, чего не помнил. Это хуже горя. Горе — когда помнишь и больно. Здесь — не помнишь и не больно, нечему болеть, рана не гноится, потому что её нет. Только шрам. Линия на коже без истории, причины, имени.

Элли заболела в шесть.

Помнил руку, маленькую, горячую. Элли на кухонном стуле, ложка дрожит — пальцы не слушаются. Пыталась поднести ко рту, каша капала на стол. Смотрела на капли не плача, как учёный на неудавшийся эксперимент.

— Папа. У меня пальцы не работают.

Голос ровный, взрослый.

Покормил. Овсяная каша, тёплая. Элли ела молча. Всегда пела за едой, три ноты вверх-вниз-вверх, вопрос без ответа. В тот вечер не пела.

Отвёз в больницу округа, три часа машиной. Элли уснула на заднем сиденье, голова набок, рот приоткрыт, слюна на подбородке. Смотрел в зеркало заднего вида, запоминал лицо, не зная, что запоминает.

Диагноз на третий день. Дегенеративное, нервная система, прогрессирующее. Полгода, может восемь, может четыре. Скорость непредсказуема.

Пластиковый стул в коридоре, стакан тёплой воды в руке. Не пил, держал. Смотрел на пальцы, обхватившие пластик.

Полгода. Через полгода ей будет семь. Или не будет.

В палате: капельница, трубка, монитор плачет ровно, зелёная линия вверх-вниз. Взял руку Элли — тонкие веточки в ладони. Сидел до утра, не спал, не ел, держал, смотрел на линию. Живая. Ещё живая.

Мэри ушла через три недели.

Не винил. Вина требует понимания, а он не понимал, как остаться. Смотреть каждый день на угасающего ребёнка, который вчера пел и бегал, а сегодня не держит ложку и не встаёт.

Мэри сошла тихо. Сумка, взгляд на Тома, три слова «я не могу», дверь.

Стоял в кухне с тарелкой. Элли наверху. Поставил тарелку, вымыл руки, поднялся. Элли смотрела в потолок.

— Мама уехала?

— Да.

— Надолго?

Секунда. Две. Три.

— Да.

Кивнула медленно, как взрослая, понявшая и не спрашивающая дважды.

— Папа. Спой мне.

— Я не умею.

— Тогда просто сиди.

Сел на край кровати. Элли лежала, тонкая, бледная, дыхание ровное. Сидел до утра. Не пел, не говорил. Присутствие, тепло, тело рядом. Этого было достаточно.

К старейшинам пошёл через месяц ночью, когда Элли уснула и монитор плакал ровно. Тропа между деревьями, корни торчат из земли, как пальцы утопленника. Луна за облаками. Река гудела низко, ровно, как трансформатор, как кровь в ушах.

Чёрная вода, гладкая, течёт медленно, тяжело, как масло, как ртуть.

Встал на колени в холодную грязь. Брюки промокли, колени утонули в иле. Смотрел в черноту без дна.

— Забери. Шёпотом, губы почти не двигались. — Забери болезнь. Из неё. Из Элли. Забери.

Река текла, гул не изменился.

Ждал минуту, две, пять, десять. Холод в костях, пальцы онемели. Не двигался.

Тепло пришло изнутри, из груди, из места, где сходятся рёбра. Мягкое, как ладонь на спине, как дыхание на щеке. Кто-то взял, вынул, забрал что-то дороже боли и страха, что-то, о наличии чего не знал до потери.

Тепло ушло. Гул продолжался.

Встал, колени хрустнули, грязь на ладонях. Ничего не изменилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.